Людмила КОСОВСКАЯ

ПЕКЛО

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

Людмила Косовская

ПЕКЛО

Невыдуманные рассказы



2000 г.

ХУДОЖНИКИ:

Оформление обложки Юлии Никитиной

Графика Елены Черниковой

ПЯТЕРО В МЕРТВОМ ДОМЕ

Знакомым и незнакомым, пережившим войну в Абхазии



— ... Сегодня я уеду, — сказала Лариса, и Мартышка посмотрела на нее тревожными глазами. В гулком доме оставалось пять живых душ и поэтому здесь еще витали вялые замороженные звуки и вечерами появлялись тени от свечей. Дом был старый, мощный, из тех, что не до конца прогреваются даже в летнюю пору. Теперь он был доверху наполнен холодом. Еще месяц назад возле обитаемых квартир отирались голодные кошки, но с приходом зимы исчезли и они. Холод не давал лазеек; заключенный между мраморными лестницами и отсыревшими потолками, он приобрел образ и плотность.

Лариса втянула голову в поднятый воротник черного пальто и, не оглядываясь по сторонам, проскользнула вымерший первый этаж.

Теперь, когда вокруг не оставалось ни одного безопасного уголка, она как-то внутренне подготовилась к концу своего бытия. Но нужно было еще многое успеть.

После поездки к Сыну в сентябре Лариса долго не верила в новую встречу. Блокада вызывала ощущение намертво захлопнутой ловушки, замурованности, зацементированности всех ходов. По мере того, как подступала непривычно жесткая, неюжная зима, — усиливались обстрелы, на улицах от снарядов погибали люди. Война, в которую не верилось в ярком обжигающем августе, превратилась в реальность.

И Лариса поняла, что нужно еще раз увидеть Сына.

— Сегодня я уеду, — повторила она как заклинание, когда Саида Кутарба, с осторожностью приоткрыв дверь, пропустила ее в квартиру. — Корабль стоит на рейде.

Женщина всплеснула руками и тихо, горестно запричитала по-абхазски. Она начала бестолково ходить по комнате, поднимая у своих распухших ног клубки ниток, что-то ища и не зная, что делать. Эсма сидела у стола под материнским козьим платком и смотрела в уцелевшее окно. Дерзкая девчонка, до последних дней отрицавшая войну, расхаживавшая в лосинах среди грузинских гвардейцев, сейчас сжала рот и старалась не замечать происходящего.

— Чтоб до темноты ты была собрана, — сказала ей Лариса, — и если выкинешь что-нибудь как в прошлый раз, я перед твоей матерью отвечать не буду.

Саида заплакала в полный голос, принялась жестикулировать, обращаясь к дочери:

— Ты не жалеешь меня!.. Чтобы слушалась Ларису!.. Ты бестолковая! Ты что сделала... Что ты сделала! Я тебя спасаю... если нашего Рауфа убьют, если меня убьют, ты будешь за нас жить!..

— Поняла. Все, — не поворачиваясь от окна, сухо сказала в пустоту Эсма. Мать подошла к Ларисе и подняла, как к иконе, заплаканное лицо.

— Лара, прости ее за тот раз... Возьми ее, моя хорошая, она бестолковая, не хочет понимать... Как родную дочь прошу тебя... — она вдруг захромала к шкафу и бесконечно долго рылась в ящиках. — Вот, — в руку Ларисы скользнуло тяжелое золотое кольцо-“бочонок”. — Отдай этим негодяям. Я не им отдаю, я Дочери отдаю, чтобы ты ее увезла отсюда... Денег нет, говорят, по шесть тысяч собирают на причале, — где такие деньги? Вот фасоль есть, кукуруза есть, так живу... Где взять деньги? Кольцо — ничего, что сейчас золото? Пусть подавятся им...

Лариса бережно завернула кольцо в носовой платок и, велев еще раз быть к вечеру собранными, спустя несколько минут, открыла своим ключом квартиру Деда.

— Дед, я сегодня еду! — крикнула она громко, чтобы дойти до его слуха, но все равно осталась неуслышанной.

В прихожую из закопченной кухни вытекали струйки тепла, пахнущие едой: Дед что-то варганил на самодельной “буржуйке”.

Лариса смотрела на него с порога: стал меньше ростом, опустился, штаны в муке, руки распухли, говорит — от мандаринов. Нужно прекращать носить их ему... если поездка будет благополучной, привезти картошки, тушенки... В былые времена мама ему ни одного блюда не готовила без мяса. Надо все перемыть, — кругом горы грязной посуды, банок, липкий пол... Черные от копоти занавески... Но уже не сегодня, сегодня надо ехать, любой ценой, больше случая не будет...

— Корабль пришел, — сказала она устало, и на этот раз Дед услышал.

— Лара, заходи, тут печка, — засуетился он. — Только дверь закрывай скорей. Я суп сварил, не суп, а винегрет. Пшеницу туда бросил, фасоль. Если сможешь есть, я налью.

— Дед, мне лишь бы горячее, — сказала Лариса. — Только не долго, мне еще собираться надо.

— Так ты едешь? — понял он.

Он медленно опустился на стул, положил руки на колени. — Ну а тебя пропустят? Как ты пройдешь на корабль?

— Дед, — Лариса решительно отложила ложку. — Я месяц ходила в порт, как на работу, по любой погоде, под обстрелами, не для того, чтобы эти уголовники преградили мне дорогу к Сыну! Я здесь выросла, мой Сын по этому причалу ребенком бегал, — кто они мне, чтобы разрешать или не разрешать!

— Они с оружием, — безнадежно сказал Дед.

— Саида Кутарба кольцо дала золотое, — тихо произнесла Лариса. — Говорит, пусть берут, счастья им все равно не принесет.

— Так ты ее девчонку опять с собой берешь? Не рискуй, Лара!

— Мать жалко. Сын воюет, вестей нет. Просит по-соседски, как откажешь?

— Ну, Бог в помощь! Лара, — сказал Дед, руки его задрожали, огрубелые пальцы спешно убирали капавшие слезы. — Я опять банку варенья открыл, не знаю, что со мной... раньше, ты помнишь, я ведь никогда его не ел, а сейчас не могу, знаю, что последнее, но не могу!

— Да вы что, как дитя, из-за банки варенья плачете? — изумилась Лариса. — Если все хорошо будет, я от мамы еще привезу. Что это вы совсем распускаться стали!

— Я не из-за варенья... — Дед все ниже опускал голову и вдруг вскинулся и посмотрел в упор затекшими глазами. — Бросишь ты меня, Лара. У тебя там самые родные люди. Там мирная жизнь, а здесь не знаешь, на каком углу тебя подстерегает смерть! Кто я тебе, чтобы ты из-за меня возвращалась? Второй муж матери...

— Да вы что, Дед? — полусонные от тепла глаза Ларисы расширились. — Да вы моего Сына на руках больше, чем его родной отец носили! А кто меня спасал, когда я от этого родного отца в синяках к вам прибегала — в чем была, ночью? И вы меня в ванной закрывали... Вы что, думаете, я ничего не помню? Нет, я только на Сына взгляну, передам ему кое-что, и — назад, погибать будем вместе.

— Давай выпьем по чуть-чуть, — предложил Дед. — Кто знает, может мы еще переживем эту войну?

Комната кружилась. Странная комната, без пылинки, музейно сохранившаяся среди общего хаоса. Мебель с витыми ручками, изящно изогнутые кресла, кремовые занавеси, собранные фестонами, казалось, с напряжением ждали возвращения только что бывшей здесь и так неожиданно исчезнувшей мирной жизни.

С тех пор как Лариса ежедневно стала ходить в порт в надежде на корабль, она почти не бывала в своей квартире. Печь не топилась, — ее попросту не было, едой не пахло, — Лариса готовила и питалась вместе с Дедом. Она возвращалась сюда лишь поздним вечером, преодолевала стылый мрак пустого жилья, ложилась с головой под тяжелое одеяло, сверху набрасывала пальто, подтягивала колени к подбородку и так провожала длинные, полные стрельбы и грохота ночи.

И все же это была третья и последняя живая квартира в недавно еще густонаселенном доме.

Когда в августе все перемешалось, как в дурном сне, — танки на набережной, истерическая посадка отдыхающих в порту, спелые плоды рынка и кровь на прилавке, спешно заколоченные досками подъезды, ароматные ночи и комендантский час, — тогда в доме никто не собирался уезжать. Еще текла из кранов вода, пекли в городе хлеб, еще горел свет, было тепло и жила надежда на скорое окончание безумства.

Дом стал пустеть после гибели слепой Ануш. Прежде, в суете дел, Лариса как-то никогда не замечала, кто выводил Ануш по хорошей погоде во двор и кто у нее вообще был из родственников. Когда двор просыпался, она уже всегда сидела на удобном складном стуле, положив руки на колени и слегка запрокинув голову. Улавливала ли она бесцветными глазами свет солнца или впитывала тепло его лучей кожей — неизвестно, но она всегда оставалась в этой позе, аккуратная, безразличная к шуму двора, обращенная к небу.

Снаряд, выбравший слепую Ануш, высыпал стекла веранд и разворотил подворотню. С воем, с неестественно оскаленной пастью бежал на другую сторону улицы дворовый пес Рембо и больше не вернулся. Говорили, что после этого первыми уехали родственники Ануш, но Лариса почему-то запомнила отъезд Сванелидзе с первого этажа, — тихое исчезновение семьи с красивыми девочками Наной и Тамрико...

В сентябре Саида Кутарба, всхлипывая, привела Эсму, умоляя отвезти ее в Сочи к родственникам. Сентябрь стоял щедрый, Эсма была в белой майке, с легкомысленной браслеткой на голой руке... Неделей позже, ни с кем не посоветовавшись, собралась и уехала на Кубань мама. Потом уехали остальные.

Лариса с трудом поднялась с кресла, настежь открыла дверцы шкафа. Вот спортивные кубки Сына, его письма, фотографии. Ничего не достанется негодяям, если они зайдут сюда в кованых сапогах. Денег, драгоценностей у нее не было никогда. Было желание создать уют, свой маленький независимый мир в отличие от того, что принес ей столько горечи и боли. И она его создала — для себя и для Сына, занимая до зарплаты, расплачиваясь и снова занимая... Теперь она поступит по-другому. Усталая и хмельная, Лариса двигалась по комнате, беспощадно опустошая шкафы и ящики. Она никогда так много не вязала, как в эту последнюю зиму. Когда Сын был маленький, она навязчиво, панически боялась умереть от несчастного случая, боялась оставить его одного в неустроенном мире. Теперь смерть придвинулась до невозможности близко, а Сын стал взрослым и мог жить без нее. Но ей хотелось как-нибудь продлить свое существование в его жизни, и она вязала ему свитера и безрукавки, иногда отрываясь от работы и нежа в них лицо и руки.

Лариса хранила все: первые тетрадки Сына, его дневники, похвальные грамоты. Сидя в темнеющей комнате под бесполезной лампой, она дрожащими руками заполняла сумку. Она была в том возрасте, когда до отчаяния ясно видится быстротечность жизни, и со всей полнотой чувств, со всей силой ощущений заново переживала то, что казалось, было совсем недавно... Она помнила даже запах того дня, когда ее белоголовый мальчик с гордостью нес из детского сада вот этот нелепо приклеенный красный цветок с отпавшим лепестком. Когда успело пройти столько лет?..

Мальчик оправдал ее надежды: куда бы он ни уезжал на соревнования, всегда присылал ей открытки, письма, привозил сувениры. Она сумела сохранить все, что было дорого ее сердцу, и от мужа-дебошира, и от наемных грузинских уголовников. Пусть теперь Сын поступит со всем этим, как захочет. Она выпрямилась и отерла слезы.

Одна сумка с кубками получилась тяжелой и раздутой. Другая, со свитерами и бумагами, была полегче, ее можно было взять на плечо.

— Ну вот, — совершенно трезво подумала Лариса, обведя глазами комнату, — остальное, в случае чего, — подожгу...

Наверху хлопнула дверь. С третьего этажа протек слабенький свет фитилька, плавающего в солярке: это спускался Дед.

— Не верю я, что ты сможешь уехать, — завел было он, гремя в коридоре палкой, но тут же осекся. Совсем рядом, на площадке, тоже хлопнула дверь и Саида Кутарба с Эсмой принялись протискивать в прихожую баулы.

— Ну вот, наконец, все собрались, — заговорил опять Дед, — давайте прощаться.

Плошку с соляркой установили на журнальном столике. Эсма стояла на пороге комнаты в узком пальто с меховой оторочкой на рукавах и, пытаясь быть независимой, смотрела поверх голов. Но горбушка хлеба в опущенной руке придавала ее виду что-то детское и жалостное.

— Саида, возьмите цветы, — выговорила Лариса, — а то Дед забудет за ними ухаживать. Вот я тут яблочки оставила Мартышке... Что еще? Провожать нас не ходите, поздно... Что еще?

— Храни вас Бог... — Дед медленно, дрожа, перекрестил Ларису и Эсму. Маме передай, как тяжело мне тут, как тут страшно...

— Ну полно, полно, — Лариса с горячностью обняла его. — Я все помню, за все благодарна. Понял меня? За все.

Саида Кутарба грела и тихо целовала руку Эсмы.

... Как ни странно, на улице еще не стемнело совсем, только окончательно исчезли последние прохожие. Над морем в сутолоке облаков проблескивал ускользающий свет еще одного отошедшего военного дня. Но ближе к причалу обстановка изменилась. Толпа людей, нагруженная чемоданами, узлами, тачками тянулась с площади в улицу, между этой толпой и парапетом было свободное пространство, а у самого входа на причал густо, пробкой стояли грузинские гвардейцы в пятнистой форме и, казалось, готовы были расстрелять в упор всех этих людей вместе с чемоданами, чтобы только не дать никому спастись. Черное тело корабля колыхалось возле причала. Гвардейцы подтягивались, не давая никому приблизиться ни на шаг, их становилось все больше.

Вот они, слетаются на запах горя, — с ненавистью подумала Лариса, сжав в кармане завернутое в платочек кольцо. Ей хотелось вместо кольца плюнуть кому-нибудь в морду или сразиться врукопашную, чтобы стало легче. Нервы начинали сдавать.

— Никого не подпускают, — выдохнула измученная пожилая женщина в черном платке, — но все надеются, пока корабль здесь.

— Никто не прошел на корабль? — спросила Лариса. — Ну как-нибудь, за деньги?

— Они будут ночи ждать, — обернулась другая женщина, опиравшаяся на тележку с тюками. — Деньги они только в темноте берут, чтобы от начальства скрыть.

— А сколько собирают?

— Говорят, по шесть тысяч.

— Кто сколько даст...

— Темные дела в темноте и делаются...

— А корабль-то долго стоять будет?

Толпа переговаривалась, тесно сплоченная желанием уехать на черном корабле, спасти свое немудреное, завязанное в скатерти и покрывала имущество, подышать мирной жизнью.

— Знаете, я так хочу ночь проспать без выстрелов, что все бы отдала, — тихо сказала девушка-армянка. — Но ничего не получится.

— Почему вы так думаете? Вот стемнеет и начнут пропускать. Кто-то заплатит, а кто, повезет, и так проскочит.

— Они по национальности смотрят, — снова сказала девушка. — У меня соседка, армянка, с тремя детьми уже месяц уехать не может. Говорят, армян не выпускаем.

— Еврею тоже не разрешили, я слышал, — вмешался мужской голос. — Он как-то проник на корабль, выходить отказался, его там и убили. Правда ли, нет ли, не знаю.

— Изверги, твари.

— Тетя Лариса, — вдруг спросила Эсма, глядя в сторону пустынной набережной, — а вы какое мороженое больше всего любите?

— Нашла о чем спрашивать! — Лариса вся сжалась под пальто и тут вспомнила, что в сборах так и не зашла к Деду погреться у печки, чтобы набрать тепла побольше, в запас на всю ночь, на всю долгую дорогу к Сыну.

— А я больше всего люблю с орехами и шоколадом, — сощурившись, говорила Эсма. — Какое в гостинице "Абхазия" делали, когда я маленькая была. А в "Прохладе" было со сливовым вареньем, не такое вкусное. Мы в девятом классе с английского в "Прохладу" бегали. Только у меня все равно по английскому пятерка была, Арда Илларионовна говорила, у меня произношение самое лучшее.

Внезапно толпа колыхнулась, по причалу побежали матросы и гвардейцы, что-то загремело. Корабль накренился.

— Уходит! Уходит! — закричали в самой середине толпы.

Измученные ожиданием люди в неистовстве рванулись вперед, цепляясь за чужие тачки и рассыпая по дороге вещи.

— Пусти меня! — раздался вопль у входа на причал, — пусти, тебя же самого мать родила! Мне ехать надо, у меня дом сожгли, ничего не имею! Вот последнее, что есть, вот оно, к родственникам еду, имею право!

Старуха в черном, обезумев, напирала на гвардейцев, таща за собой узел. Она собралась с силами и в порыве локтями раздвинула заграждавших ей дорогу солдат. Толпа охнула. Прямо перед лицом Ларисы моталась голова в черном платке: гвардеец наотмашь бил старуху по щекам.

— Я с деньгами! — кричал тем временем кто-то над самой головой, пытаясь пробиться. — Меня пропустите, я плачу!

Высоко взметнулась рука с купюрами и не удержала: одна бумажка отделилась и, переворачиваясь в воздухе, полетела на толпу. Теперь люди не общались: каждый стремился прорваться вперед, шагая по чужим вещам и отталкивая других. Каждый надеялся за счет других занять место на корабле.

— Я плачу! — надсадно кричал тот же голос, и зажатая со всех сторон поднятая рука размахивала оставшимися купюрами.

Лариса со стиснутыми зубами продиралась вперед, таща за меховой рукав Эсму и зная только одно: никогда, ни при каких обстоятельствах она не отдаст обручальное кольцо Саиды Кутарба.

Толпу тем временем стали отгонять прикладами. Глухая ночь бесследно скрывала кровь, разбросанные вещи, и только крики и ругань, казалось, долетали до неба и до спящего города.

Они были уже близко к причалу, Лариса и Эсма, назад ходу не было, на спины налегала толпа, впереди бесновались гвардейцы. Оставалось одно: славировать в сторону, к парапету и там отдышаться. Больше ни о чем не думалось.

Лариса вытащила вещи из под чьих-то ног и осмотрела их.

Застежки выдержали, значит, все сохранилось. В грудь лился чистый морской воздух. Она подняла голову и из-под нависших на глаза волос увидела рядом лицо гвардейца. Гвардеец смотрел на нее; из мутного сознания выплывали первая парта, первый класс, запах крашеных стен... Круглые щеки, — не лицо, а булка с изюмом... Мелкие, почему-то всегда влажные кудряшки. Из уголка памяти услужливо выкатилось имя: Тамазик!

Ты ...— с ними?

Она спросила его об этом молча, и он так же молча ответил ей все, что только мог ответить в этот час.

Уже перед трапом он тихо спросил, оглянувшись по сторонам:

— Твоя дочь?

— Да, — ответила она, боясь, что Эсму вдруг возьмут и отторгнут от нее.

— А у меня двое. Маленькие. Поздние.

Город отплывал. Лариса сидела на сумке, крепко держа за руку сонную Эсму, словно та могла, как в сентябре в сочинском порту пробраться на встречный корабль и вернуться домой в Сухум.

Каюта была заставлена вещами, некуда было вытянуть ноги, но что все это значило по сравнению с теплом и тихим движением моря в иллюминаторе!

Последней четкой мыслью Ларисы было, что в доме теперь станет совсем пусто и еще холоднее. Дед, наверно, уже давно спит беспокойным сном, Саида Кутарба, охая, ворочается в своей постели, и только обезьянка Мартышка, заблудившаяся в разгромленном городе, нашедшая приют на лестничной площадке, сейчас, должно быть, бессонно сидит в проеме разбитого окна и смотрит на все вокруг изумленными глазами.

ВСТРЕЧА



Поезд выехал из войны на закате и вот уже несколько часов шел по темной равнине. Давно исчезло за окнами море; отдаленные станицы светились вдоль дороги, а когда пропадали и они, поезд набирал скорость и тогда полупустые вагоны начинали ритмично покачиваться из стороны в сторону.

Все, кто хотел покинуть Абхазию в начале войны, давно уже уехали баржами и кораблями. Те люди еще умели громко кричать, проталкивались в оцепленный гвардейцами порт, их полнокровные голоса восходили к горячему августовскому небу... Теперь же поезд вез тех, кому суждено было остаться и прожить всю войну до последнего края.

Над лицом Веры тускло горела лампочка. Несмотря на то, что внизу было много свободных мест, Вера лежала на верхней полке, безучастно закинув за голову руки. Сбоку, у окна, сидела изможденная девушка и не отрываясь смотрела в черное стекло. Время от времени в соседнем купе раздавался звук, похожий на вой или плач, но потом сразу же обрывался, затихал. Никто ни с кем не знакомился, но даже если бы вдруг завязался разговор, Вера знала, что тут, наверху, ее никто не потревожит. Сейчас ей больше всего хотелось, чтобы вагон качался под ней как можно дольше, а унылая земля за окном так и была задернута мраком.

Она закрыла глаза и попыталась представить, что будет, когда ей все же придется сойти с поезда. Наплыли какие-то отрывочные воспоминания о студенческой юности, Ольга, которая тащила ее с вокзала в дом, к пирогам, беспечные объятия... Тогда они обе еще

не знали, что между их городами протянется государственная граница, и даже письма — последнее утешение разлученных людей — заблудятся в этих новых пространствах.

Потом от дружбы осталась только затертая фотография Ольги, которую Вера попеременно прикрепляла то над кроватью, то над письменным столом, а позже вместе с паспортом и сухарями носила с собой в бомбоубежище. Сейчас она и сама не могла понять, почему через столько лет, без сил и средств, решилась на эту дорогу к Ольге: то ли хотелось вернуться в прошлое, то ли погреться у чужого огня, то ли оттого, что мать умерла и жить в опустевшей квартире стало невыносимо.

Ее разбудил тихий разговор в купе. Окно напротив было сплошь залито дождем, капли просачивались внутрь и отбрызгивали на грязный столик. Девушка теперь сидела рядом с какой-то старушкой в платке и о чем-то участливо ее расспрашивала.

— ... Так вы совсем из Москвы уехали? — услышала Вера.

— Совсем, деточка, совсем. Мне теперь умирать надо, лучше родной земли нигде нет. Меня хоть похоронят, гроб сделают, деньги соберут, а в Москве покойников сжигают, дочь говорила... Мне семьдесят лет скоро, я не грешила, я всех, кого Бог дал, родила. Хочу в земле лежать... Тебя-то как зовут?

— Ада, — почти беззвучно откликнулась девушка.

— Худая ты, видно, что из войны, мученица... Только знаешь, что я скажу тебе? Все равно, лучше чем у нас в Абхазии, нигде нет. Я как из Москвы туда вернулась, все воздухом надышаться не могла. Стою на перроне и пью воздух, пью... Если до весны доживу, соседи мне огород вскопают. А в Москве вроде никто и не нужен никому.

— А сейчас вы куда едете?

— А к сыну, на Кубань, попрощаться, — готовно отозвалась старушка. — Он ведь ко мне приехать не сможет, его сразу под ружье поставят. Погляжу на него — и домой...

— А я в плену была, — задумчиво проговорила Ада. — Меня потом обменяли. Домой вернулась, в Ткварчели, а там блокада, людям есть нечего. Спасибо, старики научили: из зерен неспелой

кукурузы лепешки делала. Горько, зато хоть желудок работает, а то в плену вообще ничего не давали...

За перегородкой в соседнем купе кто-то заворочался и снова жалобный вой с невнятными причитаниями завис в воздухе.

— Во сне, что ли? — неопределенно сказала девушка и зябко повела плечами. — Теперь людям такие сны снятся...

Внезапно яркий свет резанул по вагону и поезд, толкнувшись несколько раз взад и вперед, остановился на станции. Послышались голоса и грохот забрасываемых в вагон тяжестей. Вера вздрогнула и приподнялась на локтях. Здоровые мужики в мокрых плащах тащили бесчисленные коробки, ящики, сумки; они расталкивали их куда придется, загромождали проходы, потом возвращались к входной двери и там слышался все тот же звук забрасываемых тяжелых тюков.

— Да тише вы, люди здесь спят! — взмолилась старушка.

— Поезд, бабушка, общий!

Молодой мужик все пытался затолкать на третью полку над Верой огромную коробку с апельсинами. Полка содрогнулась под грузом, и Вера невольно заслонила руками лицо.

— Здесь люди из Абхазии едут! — снова попыталась воззвать старушка.

— Ну так кто ж теперь виноват, что вас недостреляли?

Внезапно перевязь на одной из коробок лопнула и апельсины стали сыпаться с полки и раскатываться по вагону. Мужики, матерясь, бросились собирать их, но апельсины выскальзывали из рук и по мере того, как поезд набирал скорость, закатывались все дальше.

— Господи, как мы хорошо ехали! — вздохнула старушка.

Как бы то ни было, поезд шел, дорога неизбежно вела вперед... Вера попыталась было снова думать об Ольге, о том, какой она стала за эти годы, но мысли рассеивались, а память навязчиво возвращала другие видения...

... Когда в городе начался повальный грабеж брошенных квартир, люди вначале затаились. Но после первого шока все начали действовать: без лишних слов соседи входили во взломанные гвардейцами двери и забирали все, что не под силу было унести граби-

телям — стиральные машины, холодильники, сервизы. Не договариваясь между собой, жильцы домов как-то одновременно решили хранить у себя эти осколки чужого быта, чтобы уберечь от поругания. В случае же окончания войны — вернуть все хозяевам. Так в доме появились синие чужие кресла, кукла Мака и странная лампа без абажура, которой суждено было освещать последние муки матери.

Тяжелее всего было вечерами. В свои последние ночи мать совершенно не переносила темноту и надо было отводить от нее приступы удушья и страха. Она сумела пережить все бомбежки, безропотно спускалась в подвал в любое время суток, но не могла вынести задернутой шторы, что отнимала у нее последние капли земного света. Иногда мать шевелилась, приоткрывала глаза, но сознания в них не было. Потом она снова лежала, бормоча что-то обведенными смертью губами, и однажды Вера уловила ясную просьбу: "Купи сто грамм сыру... Нет, лучше не надо, дорого..." Затем бред снова увел мать куда-то, где ей было наверняка легче, чем в этой наполненной стенаниями призрачной комнате...

Внезапно стало очень светло, по стенам и потолку пошли какие-то тени, и Вера увидела прямо перед собой бледное лицо Ады.

— Ваша остановка, просыпайтесь, — позвала девушка.

Она все стояла рядом, пока Вера спешно собиралась, затем подняла слабую руку и медленно, в воздухе, перекрестила ее вслед.

С тех пор как Вера попала под обстрел иглами, она привыкла ходить опустив глаза и втянув голову в плечи. Теперь ей было странно не опасаться неба; она невольно подумала, что сколько бы ни прожила у Ольги, наверно уже так и не сможет привыкнуть к мирной жизни. Еще более странным для нее было оживление на улицах в одиннадцатом часу вечера: всюду горели рекламы, торговали ларьки, люди останавливались возле прилавков и, когда попадали в полосу света, становились видны их беспечные улыбающиеся лица. Вера постояла у одной витрины, глядя на забытый шоколад, но ничего ей не хотелось. Все было погашено в ней, точно оборвалась какая-то главная нить жизни, а надо было еще для чего-то продолжать быть в этом мире. Когда-то любимый город тоже не бе-

редил воспоминаний. Да собственно все здесь изменилось: появились стеклянные магазины с выставкой роскошных товаров, надписи на иностранных языках... Вера уже довольно долго шла в сторону Ольгиного дома, вдыхая забытый степной кубанский воздух, и не находила привычных ориентиров: вот здесь должен быть подвальчик, куда они с Ольгой по утрам бегали за кефиром, затем два-три дома, калитка... Дома стояли на месте, Вера узнала их, но подвальчика почему-то не было. Вместо него высился очередной магазин, к которому она не решалась даже подступиться: ослепительный свет заливал мраморный пол, а сверху потоками стекла и хрусталя свешивались люстры. Вера недоуменно повернула назад, еще раз прошла весь квартал и снова вернулась к сверкающему магазину. Память подсказывала ей, что дальше идти не надо, где-то здесь рядом Ольга, и стоит только зажмурить глаза и постучать в калитку... Но и калитки почему-то не оказалось. Вместо нее из темноты навстречу выступил дом-громада с замысловатыми выступами, башенками и балконами. К главному входу вела выложенная плиткой дорожка, в некоторых окнах горел свет. Вера стояла, глядя на верхний этаж, вырисовывавшийся под двускатной крышей на фоне звездного неба, и не могла понять, как это ей ни разу не пришло в голову, что Ольги может и не быть здесь... Войны тут не было, но что-то произошло везде: мама теперь на кладбище, родной город разгромлен, однокурсники разбросаны по свету, почему же она решила, что Ольга так и будет жить тут всегда?

Еще не зная, какое принять решение, Вера машинально шагнула вперед, подняла голову и крикнула в сторону дома:

— Хозяйка!

Истерично залаяли псы. Спустя некоторое время, парадная дверь отворилась и на пороге показалась женская фигура в длинном халате. Она несколько секунд вглядывалась в темноту, потом вернулась ненадолго в дом и с фонарем в руке быстро пошла навстречу Вере.

ГОСПОДИ!

... От Ольгиного халата пахло чем-то душистым, вся она была влажная, мягкая, большая...

— До чего же ты исхудала, Верка!

— Мамы больше нет, Оленька...

— Горе какое!.. как же ты добралась ко мне?

Так они говорили, перебивая друг друга, и шли к фантастическому замку, Ольга — уверенным, крупным шагом, Вера — опираясь на руку подруги и больше уже ни о чем не думая.

... Когда закончили осмотр третьего этажа, Вера едва держалась на ногах: хотелось горячего чая, душевного разговора с Ольгой, все остальное как-то уходило от ее сознания. Только один раз за все время она как будто очнулась и спросила заинтересованно:

— Что это?

— Это будет домашняя церковь, молельня, — оживленно начала рассказывать Ольга. — Только почему-то не везет с художниками. Один рисовал божественно, так пил безбожно, пришлось его отставить. Другого не сыскать целыми днями... А здесь должна быть настоящая церковная роспись... Вот пойдем в гостиную, я тебе что-то скажу, — она энергично потянула за собой подругу. — Понимаешь, — продолжала Ольга, усаживаясь с ногами в кресло перед горящим камином, — в моей жизни теперь все очень круто изменилось. У меня своя адвокатская контора. Через мои руки идут большие деньги... И все это надо отмаливать. Ну ты меня понимаешь... Только нет такого греха, который Господь не простит, если он совершен ради других. А я не для себя стараюсь.

— Я и не знала, что ты стала такая религиозная...

— Вот мои иконы!

Ольга соскочила с кресла, что-то лихорадочно поискала в шкафу и веером бросила на журнальный стол цветные семейные фотографии. — Тебе этого не понять, ты не знаешь, что такое дети. А я насмерть бьюсь, чтобы только они жили как люди. Ведь вся эта храмина на одной мне. Муж у меня не работает, Тема растет, Аринка учится на юридическом, приезжает на каникулы... Я хочу, чтобы они никогда никому не завидовали. Ни в чем! Дочери вот недавно новую спальню справила. Впрочем, сама все увидишь, — и Ольга вновь неутомимо повлекла за собой Веру.

После калейдоскопа пройденных комнат спальня и впрямь привлекала внимание своей уединенностью. Бледно-серебристые обои, голубые покрывала, изогнутые бра, казалось, издавали одно нежное мерцающее сияние. Однако, чем больше ждала Ольга удивления и восторгов, тем равнодушнее становились глаза Веры. Что-то

темное, пустынное смотрело из глубины ее зрачков, и это пугало и отталкивало...

Была уже полночь, когда они стали подниматься по узкой винтовой лестнице на самый верх дома. Здесь стало видно, что дом еще не достроен: не было электричества, пахло известью, под ноги без конца попадались какие-то предметы. Вера старалась крепко держаться за перила, но ее то и дело заносило в сторону: в последнее время у нее все чаще стали повторяться головокружения, и она панически боялась потерять точку опоры. Не желая обнаружить свое состояние перед Ольгой, Вера приостановилась, чтобы перевести дух, и вдруг ощутила вокруг себя живительную прохладу. Только теперь она заметила, что ступеньки закончились, вместе с ними закончились и этажи, и она стоит на опоясывающей весь дом веранде под открытым небом. Вера подняла голову и попыталась вобрать в грудь как можно больше воздуху. Подсознательно радуясь тому, что смотреть уже больше нечего, она наощупь добралась до колонны и привалилась к ней всем телом...

Когда Вера пришла в себя, трудно было понять, много ли прошло времени: руки все так же ощущали холод колонны, в ногах была слабость, но теперь исчез шум в ушах и дышать было легко. Над головой стоял ночной небосвод с его звездами и туманностями, а над ним, независимый ни от чего, погружался в сон не знавший обстрелов город.

— Ну что? — долетел до Веры из темноты ликующий голос Ольги, — благодать, правда? А теперь пойдем, выпьем за мой терем!

Ночью перед окном горела полная луна. После обильного ужина и выпитых напитков Вера смутно понимала, где она находится. Среди всего великолепия Ольгиного дома, казалось, не нашлось места для гостей, и Вера лежала на разложенном диване перед мерцающим в темноте экраном компьютера. Она не удивилась, когда дверь тихонько отошла и рядом обозначилось детское личико с круглыми глазами. Вера попробовала было снова вернуться в сон, но ее мутило; тогда она подняла подушку и попыталась сесть на постели.

— А правда, что вы на войне были? — внезапно прозвучал ясный голосок, и Вера внимательнее посмотрела на маленькое видение.

Это был мальчик лет шести-семи, он выжидательно смотрел на гостью.

— Ты почему не спишь?

— А мы всегда поздно ложимся, — охотно ответил мальчик. — Мы с папой здесь играем, а сегодня мама не разрешила.

— Это твоя комната?

— Нет, я сплю на втором этаже, у нас много комнат. Мама говорит, мы новые русские. А вы правда на войне были? — настойчиво повторил ребенок.

— Я на войне жила, — медленно отозвалась Вера и вдруг, почувствовав прилив сил, с интересом повернулась к мальчику.

— Ты Тема? Я раньше когда к вам приезжала, тебя еще не было, и дома этого у вас не было... Мне мама твои фотографии присылала, ты там еще совсем маленький. А потом письма прекратились...

— Почему?

— А письма боятся ходить на войну, — Вера откинула с лица прилипшие волосы. — У нас там теперь даже птицы не летают. Знаешь, Тема, вот такая луна у меня маму забрала, я теперь не люблю полную луну.

— Как это? — замирая, спросил мальчик.

— Она умерла в такую ночь. Она, Тема, была старенькая, а старым, как и вам, малышам, много чего нужно. Сахар, например. Кусочек сыра. А у нас ничего не было. Я ей алычу приносила, но ей этого мало было, ей даже по ночам сахар снился. А потом у нее ножки отекать стали. Когда она болела, ей все казалось, что луна тащит ее к себе, живая такая, с животиком. Вот и утащила совсем...

— А где же теперь ваша мама?

— На кладбище, Тема, отмучилась.

В глазах мальчика что-то блеснуло, он весь подался вперед.

— А я видик один смотрел, — заговорил он, сбиваясь от волнения. — Там мертвецы с кладбища вставали... Так что, правда бывает?

— Бывает, Тема. — Вера теперь сидела, поджав под себя ноги, и, казалось, могла говорить без конца. — У нас когда одну высоту брали, штурм прямо в районе кладбища был. Там снайперы сидели. Они своими глазами видели, как гробы поднимались...

— Интересно, — с придыханием прошептал Тема. — А у нас здесь каждый день одно и то же. Школа, уроки, видик... Арина, моя

сестра, бассейн любит, а я не люблю его. Я бы лучше вместо вас на войне побывал.

— На войне убивают, Тема. А у вас вон как тихо, — Вера кивнула в сторону открытого окна. — Мне даже не верится, что здесь никто не стреляет.

— Хотите, я попрошу маму, чтоб вы у нас остались? — внезапно решительно сказал мальчик. — Я завтра ей скажу, вы только никуда не уезжайте.

— Как же не уезжать, если моя мама там? — с грустью улыбнулась Вера. — А вот пожить у вас — я бы пожила.

— Поживите, мы с вами каждую ночь про войну разговаривать будем! — радостно воскликнул мальчик.

Жизнь в доме Ольги текла странным образом: до ночи кипела какая-то работа, варилась еда. Муж Ольги долго, с наслаждением, плескался в бассейне, а потом, лежа на диване, перелистывал яркие журналы. С утра же, наоборот, все в доме было мертво; только далеко за полдень начинали просыпаться. Ольга, потягиваясь, кормила и провожала сына в школу на вторую смену, потом завтракала сама, после чего тщательно приводила себя в порядок перед зеркалом.

Когда за окном раздавался звук мотора ее отъезжающей машины, становилось совсем скучно.

Иногда Вера выходила пройтись по саду, где не было городского шума и можно было долго смотреть на мирное небо. К воздуху поздней осени не примешивался привычный запах пожаров, но во всем вокруг жила какая-то непроходящая тоска.

В одно утро Вера вошла в кухню, когда Ольга, стоя спиной к ней, вылавливала из кастрюли в глубокую тарелку горячие вареники, и неожиданно для себя спросила:

— Оля, может мне лучше уехать?

Она видела, как широкая Ольгина спина напряглась, и рука с тарелкой ненадолго застыла в воздухе. Затем последовал взмах пышных волос, и впервые за последние дни Ольга оживленно обернулась к ней.

— Да вот видишь, какая у нас сейчас суета, — быстро заговорила Ольга. — Дом незакончен, одни расходы, Арину ждем на кани-

кулы. Если приедешь через годок-другой, все уже будет по-другому. Я тогда тебе всю мансарду отдам, живи сколько влезет. Ты позавтракай, — спохватилась она, — я тебя до работы успею сама на вокзал отвезти...

Говоря, Ольга возбужденно ходила по кухне, точно боясь, что Вера передумает уезжать, и спешно открывала какие-то дверцы и ящики. Она собрала узелок продуктов в дорогу, потом достала большую нарядную коробку чая и банку растворимого кофе.

— Погоди! — Ольга метнулась в комнату и вскоре протягивала Вере новую стотысячную купюру. — Ты прости, можно было бы больше, если б не это проклятое строительство. Да и Теме теперь надо спальню обставлять.

— Тема у тебя прелесть! — радостно вырвалось у Веры. Она, как ребенок, переводила глаза с ярких коробок на немыслимую купюру, и какая-то беспорядочная толчея мыслей одолела ее. Ей на минуту показалось, что она едет домой к маме и теперь можно будет купить и масла, и сахара, и сыру. Она быстро поднялась из-за стола и в волнении одернула на себе платье.

— Только не надо меня отвозить на машине, ладно? — попросила Вера. — Я хочу сама напоследок пройтись, медленно...

Собираться было легко. За шесть дней, проведенных у Ольги, сильно похолодало, и Вера надела на себя все, что брала с собой в запас. На газонах вокруг ограды виднелся иней. Вера оглянулась на "терем", и взгляд ее отчего-то задержался на почтовом ящике снаружи. Рука как-то сама собой нащупала хрустящую купюру в кармане пальто. Был мысленный шаг в сторону ящика, но так же мысленно, на полпути, Вера остановилась. Представились старушки, согбенно сидящие на останках разбитых домов с протянутой рукой, бледная Ада... Еще одну минуту Вера стояла, в раздумье глядя на почтовый ящик, потом все же повернулась и пошла прочь от дома.

"Если я что-нибудь сделала не так, — была последняя мысль, — Бог простит, я ничего не украла".

Проходя мимо нарядного магазина, она подумала еще, что все-таки напрасно сносят старые подвальчики, из них получились бы хорошие бомбоубежища...

ПЕКЛО

Отцу моему



Никто не знал, сколько времени шел штурм — в подвал часов не брали. Когда загремело в отдалении и горожане поняли, что это, наконец, последняя схватка за город, никто особенно еще не спешил укрыться. За год этой странной войны люди привыкли к опасности, и все было у них под рукой: документы, лепешки, свечи. Но когда снаряды стали рваться в городе и бои перешли на улицы, все дома быстро опустели.

На этот раз кто-то принес в подвал икону, и женщины в черных одеждах истово молились перед ней, — кто шепотом, кто с завывающими причитаниями. Огарок свечи, скатанной из оплывшего парафина, теплился в том углу, где молились. В остальном помещении было темно, но слегка различались фигуры сидящих людей.

Старик Арсентьич сидел на полу, прислонившись спиной к шершавой стене, и смотрел перед собой в замкнутое пространство подвала. Страха у него давно уже не было, все его существо составляла одна лишь готовность к концу, и поэтому когда наверху отчетливо раздались удары прикладов, он прислушался, быстро привстал и позвал соседа:

— Юра, по-моему, мою дверь вышибают.

В другом углу шевельнулся как будто сонный мужчина, поднял лохматую голову и медленно отозвался:

— Смотри лучше, чтоб нам мозги не вышибли.

Женщины взвыли громче, — всем стало ясно, что гвардейцы в их доме, — и теперь они хором, с отчаянием просили заступничества.

— Слава Богу, что детей здесь нет, — внезапно спокойно произнесла пожилая Сусанна с первого этажа и всех как-то отрезвил ее голос.

Когда стало тише, Арсентьич встал, распрямил плечи и снова позвал:

— Пошли, Юра, я чувствую, там мою дверь высаживают.

— Да что там тебе спасать, Господи! — нехотя отозвался сосед. Но Арсентьич увидел при отблесках свечи, что в глазах друга был страх, и в самой его скорчившейся позе, в руках, вцепившихся в согнутые колени, тоже был ужас.

— Ну тогда я пошел.

Скрипнула подвальная дверь, мелькнул дневной свет (значит, все еще был день!), пахнуло со двора гарью...

Арсентьич, прихрамывая, вошел в подъезд и еще с нижней лестничной площадки увидел ту самую картину, что прошла перед его глазами в убежище. Трое грузинских парней в пятнистой форме пытались взломать его квартиру. На какую-то долю секунды Арсентьич увидел свою фамилию на табличке отдельно от себя, точно его уже больше не было, но это мгновенное ощущение все равно не вызвало страха.

— Стойте, я сам.

— Ты кто такой?!

Дуло уперлось ему в живот, как он и ожидал этого; глаза его, уже давно плохо видевшие, теперь необыкновенно четко различали лица.

Если бы его потом просили описать парней, он рассказал бы все до мелочей: какие были кудри у самого молодого, какие бешеные глаза у того, кто держал автомат. Никогда еще жизнь не освещалась перед ним таким ярким светом.

— Я здесь живу.

Между тем гвардеец все сильнее вжимал дуло в его тело и оттеснял старика к перилам. Арсентьич ясно видел по его решимости,

что гвардейцу ничего не стоит спустить курок, — просто так, бездумно, только оттого, что кто-то помешал их планам.

— Мы здесь будем отстреливаться, ясно? Абхазы почти в городе! Нам нужен твой балкон!

— Так не ломайте, я открою!

Невозмутимость старика вдруг обезоружила всех. Арсентьич не спеша, словно вернувшись с прогулки, нашарил в кармане ключ, вытащил его, и став снова подслеповатым, несколько раз провел им по двери, прежде чем попал в замочную скважину.

— Ну, что вы хотите?

Теперь он стоял хозяином чуть впереди, в своей прихожей, а трое парней с оружием толпились в распахнутой настежь двери.

— Вы меня можете застрелить, я знаю, — проговорил Арсентьич, глядя прямо в глаза молодому. — Но мне уже шестьдесят семь лет, я смерти не боюсь. А вот уходить отсюда мне некуда.

По мере того, как парни протискивались в узкий коридор, выражение их глаз как-то странно менялось. Из коридора в комнату была открыта стеклянная дверь и хорошо виднелись развешанные по стенам картины. Закатный луч от окна высветил две из них: на одной была изображена цепь синих озер (Арсентьич писал ее уже в войну, в промежутках между бомбежками, и про себя называл своей лебединой песнью), другая, икона с изображением Христа, была аккуратно вырезана из календаря и бережно помещена в рамку. В этой же комнате повсюду стояли самодельные, клеенные из картона церквушки с позолоченными куполами, макеты каких-то красивых строений, была даже маленькая апацха с плетеным забором.

— Дедушка, это вы сами?..

— ... иконы, Леван, гляди, иконы, — говорил старший гвардеец, толкая другого, и все трое принялись вразнобой креститься, так и не решаясь шагнуть в сапогах в чистую комнату. В этот момент ударил взрыв, и гвардейцы, тотчас опомнившись, дикими прыжками метнулись к балкону.

— Вот отсюда и будем стрелять! — крикнул Леван остальным, — а ты, дедушка, вон туда, к простенку иди, слышишь, говорю, там безопасней!

На улице уже все снова сотрясалось, схватка шла за ближний квартал, абхазы рвались в свою столицу, к своим разоренным домам... Грузины отстреливались в агонии.

—Его Роман зовут, его — Мераб! — крикнул Арсентьичу Леван, махнув рукой на друзей, затем пригнулся и оглушительно застрочил с балкона в улицу. Закат потемнел, все окуталось дымом.

В то самое время Лиля шла, помахивая сорванной возле Ботанического сада голубой астрой, и смотрела поверх домов на сентябрьское небо. Было неудобно то, что привычную дорогу то и дело преграждали военные: они заставляли ее поворачивать назад, обходить квартал, кричали, что здесь оцеплено и надо идти в убежище. Но идти снова в замкнутый мрак она не хотела. Ей было странно, что другие так боялись всего этого; уже год, как горели кварталы, грохали взрывы (тогда ей казалось, что лопается небо), по ночам над городом повисали осветительные ракеты. Все это было, но был и мягкий вечер, когда хотелось дышать воздухом, а не сидеть в магазинной подсобке, как в ящике, были зажигающиеся маленькие звездочки над головой. Лиля знала, что она дойдет до темноты, что ее обязательно накормят, и при мысли об этом даже стала напевать какую-то знакомую мелодию. Если бы не военные на улицах, она чувствовала бы себя совсем хорошо: все население города, так поредевшее за военный год, ушло в подвалы, а она шла над ними, одна, в раздуваемом ветром платье!

Чугунная решетка Ботанического сада наконец закончилась, впереди была эстакада. Нужно было повернуть налево и идти вдоль заросших железнодорожных путей все прямо и прямо. Уже начинало темнеть, но в домах не загорались свечи: там никого не было.

Над городом стоял неумолчный гул, он то как будто бы оказывался за спиной, то впереди в горах. Говорили, что город в кольце, что абхазы зайдут любой ценой и тогда война вообще закончится. Так Лиля слышала утром в той самой подсобке, куда всех их сгоняли каждый день и каждую ночь, а она так хотела одного — чтоб ее не трогали, ведь хочется спать, а бомбы уже давно не мешают. Сегодня она, наконец, осуществила свою мечту взбунтоваться против

всеобщего страха. Несмотря на крики соседок, тянувших ее назад, она вышла в город под пули и вот уже долго шла, петляя из-за обстрелов, но ведь шла, а не сидела в подсобке и была жива!

Сразу под эстакадой ее ждало досадное недоразумение: всю дорогу загородили БТРы, развернутые в сторону вокзала, и кто-то с них закричал ей:

— Назад, здесь не пройдешь!

— А где можно пройти к вокзалу, батоно? — вежливо спросила Лиля. Солдат, жестикулируя, показал ей обходной путь, и она покорно, как уже много раз за сегодняшний день, свернула в боковую улочку.

Обстановка в городе становилась все напряженней. Иногда, когда свистело над самой головой, Лиле приходилось пригибаться и отскакивать к какому-нибудь укрытию, иногда она была вынуждена постоять некоторое время в подъезде. Но подъезды почти все были забиты досками, а на маленьких улочках среди частных домов и вовсе не существовало укрытий. Тем не менее ей все же удалось продвинуться к вокзалу. Стрельба слышалась позади, Лиля снова вышла на шоссе, но по мере ее движения вперед, ей все больше мешали. Ей, словно загнанному зайцу, стали сбивать путь: куда бы она ни подалась, выстрелы, казалось, неслись оттуда; стоило метнуться к домам — стреляли с балконов, к переулку — оттуда неслись слепые автоматные очереди. Тогда и пришла единственно верная мысль: нужно просто быстро бежать, чтоб успеть до комендантского часа, бежать прямо, не обращая внимания ни на какие пули, а если о них не думать — они не достанут, вокруг будет лишь ветер, — и с этой мыслью она полетела, как птица.

В затишье между стрельбой кудрявый черный Леван, весь взмокший, попросил Арсентьича плеснуть ему воды на руки, обмыл лицо, шею и уже через минуту ловко вышиб ногой нижнюю часть двери соседней квартиры. За ним внутрь нырнул Роман и, спустя некоторое время, они появились на пороге с пакетами макарон и бутылкой чачи. Арсентьич молча разжег для них печурку. Ужином стал заправлять старший Мераб. Он по-хозяйски обдал сварившие-

ся макароны холодной водой, поставил их прямо в миске на стол, потом вынул из серванта и протер концом полотенца четыре стеклянные стопки. Арсентьич не слишком отказывался от угощения. Когда его позвали к столу, он, кряхтя, достал табурет, придвинул его и сел с краю. Голодные солдаты набросились на макароны, прежде чем пригубить спиртное. Арсентьич хотел было зажечь фитилек, чтобы хоть немного ориентироваться во тьме, но Мераб остановил его за руку:

— Не надо, дедушка, я тебе зажигалкой, если хочешь, посвечу.

Выпить им так и не удалось. Едва Арсентьич потянулся к рюмке, нащупал ее, как содержимое тотчас плеснулось на пальцы: казалось, дом качнулся и отъехал куда-то в сторону. Гвардейцы вскочили, роняя стулья; штурм возобновился с новой силой. В то же время в дверь кто-то дробно, упорно стучал. Этот звук так не вписывался в то, что происходило везде, что Арсентьич даже не догадывался спросить, кто там. Старик, словно заведенный, ходил по кухне взад и вперед в каком-то неуемном движении. Нет, он по-прежнему не боялся смерти, не боялся и этих ребят, суетившихся на его балконе, но была где-то в самой глубине его тайная боль, в которой он не хотел себе признаваться. Арсентьич попробовал было отвлечь свои мысли, подумал о Юре, друге, который сидит сейчас в безопасности, а ему уже выломали двери...

Вот как бывает на свете: всю войну коротали два дурака (умные люди давно разъехались), слушали новости, когда был свет, грелись у печки, а когда один из них решил отстоять свою квартиру, другой, весь дрожа, остался в убежище — и вроде как предал?.. — а первый дурак сейчас ест его макароны, сваренные гвардейцами. Однако, боль была связана не с этим, а непрекращавшийся стук в дверь не дал больше ни о чем подумать. Арсентьич медленно снял цепочку, повернул ключ, словно прийти к нему в такой час было делом обычным, и вдруг ахнул и всплеснул руками: на площадке стояла Лиля.

— Ты куда? зачем? — лихорадочно заговорил он, снижая голос и одновременно плотно закрывая дверь в комнату, — у меня гвардейцы стоят... как ты дошла? Ты голодная, я знаю... Я тебе дам поесть, только на ночь уходи, уходи Бога ради, они изнасилуют тебя... Тут Шивины рядом живут, ты знаешь их, перебежишь дорогу, когда бу-

дет затишье. Они тебя возьмут на ночь... У меня телефон еще работает, я позвоню им...

— Я тебя так хотела увидеть, — сказала Лиля. — Что мне этот штурм.

— Бедная ты моя.

Огненные сполохи то и дело озаряли небо; Арсентьич на минуту забылся и весь вздрогнул, когда из комнаты вылетел Леван с криком:

— Кто тут?! Кто пришел, говори!

— Это дочь моя, — проговорил старик, стараясь спиной закрыть девушку и незаметно оттесняя ее в ванную. — Она... она больная, инвалид... Моя дочь от второго брака... инвалид.

— Беги, дед, в убежище! — заорал Леван, — сейчас тут совсем жарко будет. Абхазы заняли вокзал!

— Лиля, беги, — обрадованно заговорил Арсентьич, — беги в подвал, там все, там женщины, я сейчас еду принесу, я накормлю тебя!

— Боже мой, я только избавилась от стен, — начала было Лиля, но в этот момент пуля пролетела с улицы через комнату и вонзилась в стену напротив. Арсентьичу удалось вытолкать дочь.

С легким сердцем он стал собирать в целлофановый кулек сухари, лук, лепешки, но тут дверь опять распахнулась и при свете огня он увидел дочь в легком платье с астрой в руке.

— Там уже не пройти, — сказала Лиля слегка испуганно, — там идет перестрелка над двором, по-моему, с веранд.

— Да брось ты этот паршивый цветок! — закричал изо всех сил Арсентьич, — заходи в ванную и закрывай дверь! здесь нас хоть пули не достанут! — Они вдвоем заперлись на задвижку, а входная дверь, так и оставшись открытой, ходила ходуном и хлопала при каждом взрыве.

Времени снова больше не существовало. Иногда Арсентьич зажигал спичку, доставал из-за ванны бутылку с красным вином, отпивал прямо из горлышка, и тогда тайная его боль потихоньку выползала наружу.

Кроме слабоумной Лили у него была еще дочь, старшая Люся, справная, как говорили о ней люди. Она жила в другом городе, была замужем, и от этой дочери рос единственный внук, маленький белоголовый мальчик. В последний раз Арсентьич видел его перед войной, потом все дороги перекрыли, но дочь, конечно, и не решилась бы приехать с ребенком в самое пекло. И вот с этой мыслью, что он больше никогда не увидит мальчика, Арсентьич не мог согласиться.

— Ну чего, чего ты, — говорила Лиля, чутко улавливая в темноте его пьяные всхлипывания и поглаживала его холодной ладошкой. — Все будет хорошо, я же знаю.

Ее ласковый голос слегка успокаивал, но потом долго сдерживаемые слезы снова прорывались у него и текли, текли, словно испросив разрешения у его окончательно сдавшейся души. Вино почти не помогало. Наоборот, чем больше хмель разбирал ослабевший организм, тем яснее видел старик создавшуюся обстановку.

В городе, судя по грохоту, доносившемуся из-за стен ванной, уже не должно было остаться камня на камне. А в кухне, за плитой, стоял газовый баллон, почти полный, который всю войну он сберегал как зеницу ока. Это было единственное спасение в отсутствие топлива и света. Другой баллон, пустой, стоял в ванной, на нем и сидела сейчас Лиля. А может быть наоборот — на полном?.. От этой мысли Арсентьича бросило в жар и все тело его мгновенно покрылось испариной. *Господи, если ты есть, помоги, чтобы нас не убило! Помоги мне еще раз увидеть внука и Люсю! Помоги нам дожить хотя бы до утреннего света!*

Старик сам не понимал, твердил ли он это вслух или все его существо, сжавшись от непосильного ожидания, сотворяло одну бесконечную молитву.

Внезапно дверь в ванную раскрылась, всунулась кудрявая голова и громкий голос Левана позвал:

— Дедушка, иди выпьем, пока затишье!

После кромешной тьмы ванной комнаты в кухне казались отчетливо видимыми все предметы. Усталые парни на этот раз одним махом опрокинули по стопке и лишь потом перевели дух.

— А ты чего, дед, дочку там прячешь? — спросил Мераб, придвигая к себе остывшие макароны. — Пусть придет сюда, выпьет с нами, скажи ей, мы не убийцы.

— Да она не пьет совсем, у нее голова слабая, — торопливо заговорил Арсентьич. — Такая она родилась у нас... с детства. А сейчас еще и еды не хватает...

Он спохватился, вспомнив, что тишина может в любую минуту прерваться, и принялся быстро заворачивать с собой в ванную еще лепешки.

— Слушай, дед, ты художник?

— Я? Нет... — Арсентьич прищурился и раздумчиво покачал головой. — Я всю жизнь на стройке работал, простым рабочим, а это так, для души. Красоты не хватало.

— Дед, — снова позвал Мераб, наполняя стопки. — Эту квартиру мы никогда не забудем.

На улице громыхнуло, разнесся крик: "Гранатометчики!" и вслед за тем послышался топот множества ног по ночной улице.

— Я вот что скажу, — Леван сжал рюмку, на дне которой плескались остатки чачи, и быстро поднялся. — Нам тут осталось быть не больше часа. Город уже не удержать... Ты... это... дед... — он стал запинаться, — не думай, что мы хотели такого... Мы в этой войне сами родных потеряли. У меня на руках друг умер... — Последние его слова заглушил взрыв, за окнами взметнулось пламя.

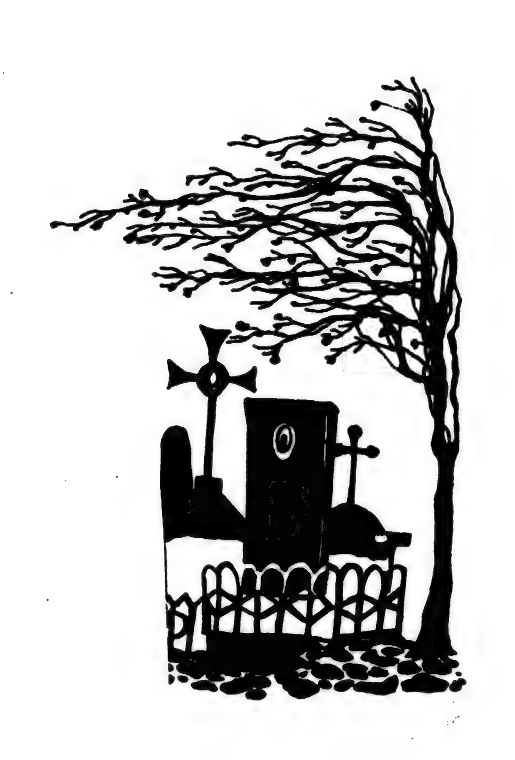
Старик Арсентьич не помнил, как вновь очутился в ванной. Очнулся он оттого, что снова стал как будто ощущать время. Ему даже показалось, что он слышит, как тикают в комнате часы. Он поднял голову от затекших рук и прислушался. Стояла необычайная тишина, только дверь на лестничную площадку, которая, как видно, все еще была открыта, слегка поскрипывала от ветра. Не веря себе, Арсентьич отпер ванную и вышел наружу. Было утро. Старик выглянул на балкон, в кухню, — везде было пусто, — потом вышел на лестницу и через разбитое окно посмотрел во двор. Посреди двора стояли какие-то обросшие щетиной военные и раздавали хлеб выходившим из подвала людям. Дневной свет ярко очерчивал битые

стекла, обрушившиеся веранды, перевернутые вверх дном столы и холодильники...

— Лиля, — тихо позвал Арсентьич, вернувшись в квартиру, — слышишь, Лиля! Кажется, победа...

Но дочь крепко спала, положив голову на край умывальника, и ничего не слышала.

УХОД



Бред, бред, бред... Тянется ниточкой куда-то к самым истокам жизни, потом резкий возврат в сегодня, сейчас, где уже обозначен конец и все оставшееся до него превращено в абсурд.

Хуже всего мать выглядит после ночи, когда больничные предметы начинают проясняться, — губы ее совсем сини, лицо сжатое, желтое, чужое, — но именно рассвет ей приносит успокоение. Она закрывает глаза и начинает дремать. Пройдет еще немало времени, прежде чем измученная ночными дежурствами дочь начнет понимать, что все это — шарканье и шлепанье выздоравливающих, голоса в коридоре, которые непременно раздражали бы мать прежде, — теперь ее последняя связь с жизнью.

Еще будет ночь, когда мать сядет на постели, обхватив руками колени, и скажет горестно и разумно: "Я как узник, который ждет рассвета в надежде, что хоть еще одни сутки его не выведут в расход." И тогда станет понятен ее страх темноты и времени...

Тяжелее всего по утрам преодолевать тяжесть несостоявшегося сна, выходить на холодную, без единого стекла веранду, чтобы умыться; потом нужно менять материнские пеленки, ждать завтрак — каждодневную лапшу на воде, а затем бежать кормить маленького сына...

Послевоенная осень выдалась сухой, яркой. В дневном блеске почти незаметны засыпанные листьями развалины домов, улицы оживлены, на перекрестках продают георгины, но все это — постороннее, а реальна только надвигающаяся неизбежная смерть.

Лекарств в больнице почти нет, но они уже не нужны. Бывают моменты, когда является з н а н и е предстоящего и тогда бороться с судьбой совершенно бессмысленно. И вот вместо молитвы о спасении матери срывается с губ просьба об отпущении ей грехов, и можно помешаться от всей этой нелепой смеси молитв, бреда и безнадежности.

Дома, в глубине ящиков, уже припасены тонкие восковые церковные свечи. Возможно, это кощунство, но потом они могут не подвернуться, а хлопот будет слишком много, потому что город уже устал хоронить и сам едва дышит без гробов, транспорта и электричества. Старшая сестра облюбовала место для могилы в собственном дворе: кусочек земли среди асфальта, огороженный металлической сеткой: отсюда до войны ползла на балконы виноградная лоза. Сестра утверждает, что здесь могила будет ухожена, не то что на кладбище, куда ни дойти ни доехать, где под каждым кустом мина или неразорвавшийся снаряд. Но младшей это все не по душе. Прямо над участком тянется водосточная труба, извергающая в непогоду ливневые потоки, и потом ведь придет когда-нибудь время, когда всех будут перезахоранивать, а это еще более сложно и неприятно.

Нет, покойник должен жить в городе мертвых, среди тишины. У мамы там свое место, там ее мать, и дикие розы, и пчелы, надо только что-нибудь придумать с транспортом, когда Господь отпустит ее.

Во дворе больницы каждое утро выстраивается очередь с посудой к единственному крану, но вода поступает плохо и поэтому самые нетерпеливые споласкивают тарелки прямо в бассейне дворового фонтанчика. Из-за скудности пищи посуда почти не пачкается, и вода в бассейне всегда остается незамутненной. Если бы мать могла поправиться, ей непременно понравился бы этот дворик, с виноградной беседкой, скамейками для выздоравливающих, но ее привезли сюда на носилках, безразличную ко всему, а увозить будут...

Единственное, что до сих пор еще не путается в ее воспаленном сознании — это имена дочерей. Как бы далеко не уводили ее лабиринты бреда, она всегда безошибочно знает, кто дежурил ночью у ее постели, и вся напрягается и вздрагивает, когда утром слышит голос другой дочери. Постепенно, с наступлением дня, ее губы об-

ретут более живой цвет, веки поднимутся, а туманные глаза на время станут осмысленными.

... Вот они стоят перед ней, обе ее дочери, пока мрак удушья еще не скрыл их, и ей видно на фоне Судьбы, какая тяжкая отведена им доля, и легче не будет, а она даже не может сказать им об этом. Бедные, они наверно плохо питаются, живут кое-как, младшая целый день у плиты, да еще этот воробушек, внук... Какая проклятая война, не дала насладиться вкусом быть бабушкой, а теперь уже не увидеть, не узнать, как он пойдет в школу... Дочери не приводят его к ней, здесь пахнет уколами, смертью, а у нее нет сил сказать им, до чего хочется наглядеться на мальчика. Тем более, что эти просветы коротки, а в остальное время перед глазами темнота и приходится отдирать от себя страшное дерево, которое вцепляется всеми ветками, не давая дышать, горло забито, какая же это мука — все время искать воздуха, когда он для всех есть!..

В моменты удушья матери молоденькие медсестры прибегают быстро, со шприцами, с аппаратом для измерения давления, но их усилия так же бессмысленны, как весь курс лечения, как и эта больница, куда мать привезли только для того, чтобы сделать для нее все. Несмотря на разбросанность жизни, бессонницы, круговерть дней дочери безошибочно знают исход болезни, а матери, похоже, даже открыт срок. Правда, однажды в бреду у нее промелькнул октябрь, а теперь уже начало ноября, но бархатный сезон в этом году очень затянулся. Дождей нет, солнце светит щедро, в палате, несмотря на целлофан, натянутый в окнах вместо стекол, совсем не холодно, — так может Господь действительно продлил октябрь?

Как бы то ни было, лечащий врач подтвердил неизбежное; теперь остается лишь ждать, собрав все свое мужество, — военный год научил всех суровости, — вот только один вопрос так и остается неразрешенным: как быть с транспортом?

Когда больной умирает в больнице — это больно и скорбно, но когда в ы п и с ы в а ю т у м и р а т ь — это противоестественно до крика.

Конечно, врачей понять можно — зачем тратить драгоценные гуманитарные лекарства на тех, кто уже не поднимется, а лапши и перлового супа и так с трудом хватает на всю больницу. Но с другой стороны — что отвечать, как смотреть в глаза умирающей, когда

она приходит в сознание? Когда речь заходит об этом, сестрам никак не удается поладить. Младшей кажется, что мать нужно обманывать до конца, плести что-нибудь о будущем выздоровлении, а старшая почему-то горой поднялась за любую правду. Однако, прежде чем произойдет какой-нибудь разговор, необходимо доставить мать домой, а это уже вообще из области немыслимого: “Скорая помощь” больше не ездит из-за отсутствия бензина, деньги за бензин тоже не берут, вот если бы суметь раздобыть канистру... По этой же причине не видно легковых автомобилей, а если где и показываются, то пролетают мимо, — какое кому дело до угасающей в городской больнице чьей-то старости!

Как-то на закате пришлось долго постоять у дорожного перекрестка. За это время успел сесть на площади и затем улетел вертолет с ярко-красным крестом на борту, такое же красное солнце висело над крышами Сухума, и было тоскливое чувство, что ничего этого больше мать не увидит.

... И вот наконец все неожиданно разрешилось, как случается порой, когда исчезает последняя надежда: старшей сестре удалось договориться со знакомым мотоциклистом, тот не стал медлить, с треском вогнал мотоцикл в тишину больничного дворика, был уже пьян и даже не понял, что помогает перевозить умирающую. Поэтому голова матери болталась из стороны в сторону от скорости, ей было холодно, несмотря на наброшенные одеяла, и пока ее поднимали на третий этаж родного дома, она вся почернела...

Теперь ночи стали еще более тягостными, горячечными, хотя казалось, что дома будет намного легче: здесь все под рукой, можно по очереди спать, кормить мать с ложечки теплой кашей, а не носить полуостывшую еду в банках, но именно тут, впервые за все время, вдруг пришли страх и одиночество. Там, в палате, были женщины, был дежурный врач в комнатке с лампой, куда в любое время суток можно броситься за помощью, были уколы, таблетки, иллюзии облегчения, теперь же надо встречать смерть один на один. Никогда еще спальня не была такой враждебной: даже когда в ней дрожали стекла от обстрелов и приходилось жаться к стенам, где безопасней, все равно не было того страха, что поселился в каждом углу с момента возвращения матери. По ночам то и дело надо

зажигать парафиновую свечу: город все еще обесточен, за окном беспросветная мгла, а стенания матери становятся все невыносимей. Все труднее и труднее укладывать ее — тело костенеет с каждым днем, жизнь уже покинула его, только сердце, разогнавшись за долгие годы, еще продолжает работать без всякого смысла. Больничные уколы все-таки сделали свое дело, приступы удушья оставили мать, но ночь тяготит ее, она то и дело просит часы, ждет рассвета, словно в наступлении еще одного утра ее последнее спасение.

Когда поздний ноябрьский рассвет наконец заливает спальню, становятся видны разбросанные за ночь тряпки, тазы с водой, огарок свечи, ненужные уже фрукты на тумбочке. Мать просит принести ей минеральную воду, — единственное, что она может еще принимать, — и произносит едва слышно, одними губами:

— Как хорошо... Не стреляют... Жить бы теперь...

Про малыша она почему-то больше не спрашивает, точно знает о нем все: и что он живет у деда, ее бывшего мужа, и что ему еще рано видеть, как умирают люди.

Вот она, смерть: неумолимая, зримая, подступившая так близко, что не оставляет никаких шансов. Хочется зацепиться за что-нибудь сознанием, чтобы не дать уйти свету дня, не дать себе соскользнуть т у д а раньше срока. До чего же хорошо быть маленькой... Потом всю жизнь ошибки и промахи, промахи и грехи, которые видно только тогда, когда ничего уже нельзя сделать. А теперь перед глазами все время чистый лист бумаги и надо поставить на нем точку, но оказывается, что чего-то еще не хватает для этого, каких-то добрых дел... А сколько можно было успеть сделать, если бы не война... И холодно, и одиноко, хотя все близкие рядом, даже нелюбимый, разведенный, постылый муж — и тот появлялся в больнице...

Агония растянулась на несколько суток. Стоны матери становились все более протяжными, она больше не вскидывалась, не гнала время, лежала на спине, глядя в отсыревший потолок с тенями от предметов, и звала так, как можно звать только на краю вечности:

— Мама! Ма-ма! Ма-ма-а-а!

Она больше никого не узнавала и никто ей не нужен был возле смертной постели, кроме родной матери.

На исходе ночи за окном дробно простучали конские копыта, послышался скрип телеги — это крестьяне из сел уже ехали на рынок, — и вдруг пришло ясное, простое решение, какое не приходило в голову сестрам ни там, в больнице, ни дома: вот это и будет ее путь на кладбище, в тихую ограду. Надо всего лишь договориться с сельскими жителями, дать им денег, и тогда гроб повезут на телеге, а что может быть лучше такого тихого, неспешного прощания с городом?

За время болезни мать истончилась, иссохла, тление не тронет ее, и если в день похорон по-прежнему не будет дождя, можно открыть лицо к небу. По обе стороны гроба хватит места для родных, а остальное место займут цветы, много цветов, — в Абхазии умеют провожать усопших.

И словно услышав эти мысли, мать стала затихать. Она выпила еще несколько глотков минеральной воды (последняя бутылка так и осталась неоткупоренной), послушно легла, не открывая глаз, и больше уже никого не мучила и не стонала. На протяжении еще нескольких часов грудь ее поднималась ровно, как у спящей, потом ритм дыхания стал сбиваться, но это уже не было удушьем. Когда последние судорожные толчки прекратились совсем, сестры для чего-то сверили календарь с предсказанием: число было то самое, что называла мать в бреду, а месяц другой, но впрочем какое это уже имело значение.

За окнами по всему небу разгорались отсветы нового дня, блики падали на часы, которые предстояло остановить, зеркала, которые нужно завесить, а мать лежала далекая от всего, теперь уже непричастная ни к чему на свете. Голова ее была слегка запрокинута, лицо бледно, туловище распрямилось и как бы с облегчением вытянулось под одеялом.

Она успокоилась.

СОДЕРЖАНИЕ

Пятеро в мертвом доме 5

Встреча 17

Пекло 29

Уход 41

Ваши отклики просьба присылать по адресу: 354065, г. Сочи — 65, а/я 135.

Людмила Владимировна

КОСОВСКАЯ

ПЕКЛО

невыдуманные рассказы

Лицензия ЛР 010056 от 10.11.96 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета. Подписано в печать 24.04.2000 г. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. п.л. Тираж 500. Заказ 2084.

ГУП "СПП", 354000, г.Сочи, ул. Советская, 42.



Людмила Косовская - прозаик с пристальным вниманием к человеческой душе, к вечным непреложным ценностям.

Выпускница Литературного института им.Горького. Ее рассказы публиковались в периодической печати в разных городах бывшего Союза. В этой книжке представлены четыре рассказа о жизни и смерти обычных людей, попавших в пекло войны в Абхазии в 1992-1993 годах.